

СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ

“В БОРЬБЕ НЕРАВНОЙ ДВУХ СЕРДЕЦ”

Я научила женщин говорить.

А. Ахматова

В книге “Крушина” есть несколько стихотворений, обращённых к Ахматовой, написанных словно “под её диктовку” или с ахматовскими сюжетами, интонациями, лексикой и, разумеется, с ахматовскими героинями. Ахматова была кумиром Дербиной, её наставницей и “покровительницей” и до и после крещенской трагедии.

Фанатичный культ Ахматовой стал “опорой” в её изломанной судьбе.

*В ночь безнадёжности жизнь моя брошена,
Но есть в ней два слова, святящихся матово,
Как обещанье чего-то хорошего:
“Анна Ахматова! Анна Ахматова!”
Под камнепадом хулы, поношений
Именем этим мне даль осиянна...
О, не упасть бы с судьбою в сражении,
Как не упала Ахматова Анна!*

С одним из своих избранников (возможно, что и с Рубцовым) Д. побывала на могиле Ахматовой в Комарово:

*А собственно, что у нас было?
Ахматовиана и май,
И чуточку сердце щемило
(Как хочешь сие понимай).
И кладбище там в Комарове,
И профиля барельеф,
И замкнутый в царственном слове
Как будто родимый напев.
Дорога на озеро Щучье,
Там есть и ЕЕ следы...
Наверное, было бы лучше
Не стоять у тёмной воды.
Теперь эти тёмные воды
Буду помнить долгие годы.*

Никто из русских поэтов не владел душой Людмилы Дербиной с такой властью, как Анна Ахматова. Недаром же поэтесса пишет слово “ЕЁ” прописными буквами, словно речь идёт о Божестве.

Есть в “Крушине” раболепно ахматовские стихи об “ахетатонской царице” Нефертити, о “печальной мидийской царевне”, бродящей (подобно Анне Андреевне в Царском Селе) по аллеям “висячих садов Семирамиды”. Эпиграф к стихотворенью взят из Ахматовой: “Всего прочнее на земле печаль”. И даже когда в стихах Д. мы встречаем её собственное уподобление себя волчице и ведьме, то невольно вспоминаешь, что Анна Андреевна в дружеско-семейных кругах имела звериную кличку “Акума”. Гипнотическое влияние А. А. на Л. Д происходило на глубоком, можно сказать, на иррациональном уровне. Скорее всего, кроме уроков гордыни, полученных у Ахматовой, её поклонницу могло околдовать ахматовское изображение любви как вечного сопротивления мужской воле, как поединка, в котором победа над возлюбленным не только тешит тщеславие, но и вознаграждает чувством полной независимости. Привлекал способную ученицу и ахматовский “комплекс Клеопатры”, исключавший всякую длительную женскую привязанность и патриархальную верность единственному избраннику в жизни. А ещё, конечно, она усвоила от Акумы способность провоцировать уроки ревности, подобные тем, которые устраивал А. А. её третий муж, несчастный Пунин. **“Все, кто её любил, – пишет в своих воспоминаниях друг А. А. Павел Лукницкий, – старались спрятать её, увезти, скрыть от других, ревновали, делали из дома тюрьму”**. В такие “тюремные минуты” А. А. чувствовала себя на вершине блаженства, о чём свидетельствуют её стихи:

*Сколько б другой мне ни выдумал пыток,
Верной ему не была.
А ревность твою, как волшебный напиток,
Не отрываясь пила.*

Да не ополчатся на меня фанаты и фанатки Ахматовой, но почти ту же самую картину “ревностей” мы видим в вологодской трагедии.

Из протокола допроса Дербиной:

“Николай ревновал меня <...> Приходил ко мне Николай, спрашивал: “Кто у тебя в подвале?” И непременно проверял, нет ли кого”.

Из показаний сестры Дербиной:

“Рубцов её ревновал, ему всё казалось, что она ему изменяет”.

Как пишет М. Суров – создатель удивительной книги “Н. Рубцов. Документы. Фотографии. Свидетельства” (Вологда, 2006): **“Детально описывая сцены ревности, которые “закатывал” ей Рубцов, она как бы говорит всем нам: смотрите, как он безумно любил меня <...>; “безумная ревность поэта Николая Рубцова всегда служила для Грановской своеобразным “сертификатом качества”, авторитетным подтверждением её ценности как женщины и значительности как поэтессы. У меня лично не вызывает ни малейшего сомнения тот факт, что Грановская сама провоцировала вспышки его ревности и затем картинно сокрушалась по поводу безумства его любви”**.

Совпадением ревнивых чувств в стихах А. и Д. несть числа. **“Тебе покорной? – ты сошёл с ума!”** – с надменностью заявляет А. А. кому-то из мужей или любовников. А. Дербина почти “в рифму” вторит ей: **“Невозможно, чтоб ты одолел”**. **“Мой муж – палач, и дом его – тюрьма”**, – негодует А., живя с Шилейко. А Дербина, стремясь освободиться “от власти” Рубцова, в борьбе с “домашней тюрьмой” идёт ещё дальше: **“А я у своей западни смела все замки и затворы!”** **“Уже судимая не по земным законам, / Я, как преступница, ещё влекусь сюда”**, – горюет Ахматова, и Дербина твердит то же самое почти теми же словами: **“Закон суров, но это есть закон, а я древнее всякого закона”**. Перекликаются между собой и две заповеди, по которым пытались жить две своевольные женщины:

*Стыдись и творческой печали
Не у земной жены моли.
Таких в монастыри ссылали
И на кострах высоких жгли.*

Это – ахматовское хрестоматийное заклинание, а вот заклинание её ученицы, и оно, право, не слабее по чувству:

*Заройте, как жонку Агриппку,
На площади в Вологде, но
Души моей грустную скрипку
Не закопать всё равно.*

Правда, бывает, что самых что ни на есть “таких” в землю тоже закапывали, как, например, Анну Монс, неверную любовницу и жертву ревности молодого императора Петра Первого. Кстати, и “жонку Агриппку” дремучие вологжане XVII века закопали на главной площади города с формулировкой “за блуд”, но потом сжалились и выкопали обратно. А разве “разборки” со своими несчастными избранниками у А. А. и Л. Д. не изложены на одном и том же языке “неземных жён”?

*Тебе я милой не была,
Ты мне постыл. А пытка длилась.
И как преступница томилась
Любовь, исполненная зла. (А. А.)*

Особенно хороша, откровенна и парадоксальна последняя строчка этого проклятия, перекликающегося с другим проклятием разлюбленному:

*Ах да! Ведь где-то муж безгрешный.
Он помнит, что была жена.
Она была. В страстях нездешних
Как еретичка сожжена. (Л. Д.)*

“Нездешние страсти”, “неземные жёны”, “еретички”, восходящие на “высокий костёр”...

И о забвении, и о вечной славе и знаменитая наставница, и её ученица рассуждают так, как будто слова стихов им нашептала одна и та же муза:

*Забудут, вот чем удивили!
Меня забывали сто раз,
Сто раз я лежала в могиле,
Где, может быть, я и сейчас.*

Строки хрестоматийные... Но с не меньшим основанием младшая современница Ахматовой примерит их на себя, приправит солью своей судьбы и повторит почти теми же словами:

*Никто не знает, сколько раз
Рождалась я и умираю,
И сколько раз в свой смертный час
Я начинала жить сначала.*

А вот стихи о разорении жизни, написанные А. А. в 1921 году:

*Всё расхищено, предано, продано,
Чёрной смерти мелькнуло крыло,
Всё голодной тоскою изглодано,
Отчего же нам стало светло?*

И как эхо – отражается звук этого разорения в стихах, написанных ровно через 60 лет.

*Будто нищая пала ограда,
Чёрной бездны приблизилась край.
Стало слышно дыхание ада
На земле сотворяющим Рай...*

Стихи-близнецы, стихи-реминесценции, стихи-ремейки выходили из-под пера Л. Д. словно копии и всегда заставляли вспомнить ахматовские оригиналы. И обращение к музе для неё – как же без музыки! – было обязательным:

*А. А. Дай мне горькие годы недуга,
Задыханья, бессоницу, жар,
Отними и ребёнка и друга
И таинственный песенный дар.*

*Л. Д.: Светлоокая! Дай же мне руку,
За собою меня позови,
И на сладкую крестную муку
Песнопения благослови.*

Но не только в стихах – даже в мыслях и разговорах Л. Д. подражала Анне Андреевне.

“А всё же я пишу стихи лучше тебя”, – выкрикнула Анна Ахматова в лицо Гумилёву, когда нашла у него в пиджаке записку от какой-то женщины. А Людмила Дербина в разговоре с лагерной товаркой по несчастью, спросившей её: не жалко ли ей, что она убила своего мужа, холодно ответила: “Я бы его и ещё раз убила. Всю жизнь мне сломал <...> Видите ли, поэт... учил меня. А мои стихи не хуже, а намного лучше”.

Ну, а прочих второстепенных совпадений не перечить.

Набор “знаковых имён” в книге “Крушина” у Л. Д., выросшей в северной глубинке, тем не менее весь “ахматовский”: “Люцифер”, “Навуходоносор”, “Моисей”, “Алигьери”, “Герострат”, “Содом”, “Гоморра”, “Голгофа” и т. д... Всё словно бы взятое напрокат из “Поэмы без героя”.

*А. А.: У затравленной дикой кошки
На твои похожи глаза.*

*Л. Д. Когда рискнешь как бы врасплох
Взглянуть в глаза мои кошачьи,
Зелёные, как вешний мох...*

И воспоминания о диком детстве у них словно у двух близняшек-сестёр:

А. А.: “Я получила прозвище “дикая девочка”, потому что ходила босиком, бродила без шляпы и т. д., бросалась с лодки во время шторма и загорала до того, что сходила кожа, и всем этим шокировала провинциальных сева-стопольских барышень”.

*Л. Д.: Я твоя, глухомань моя дремная,
Потайная моя колыбель,
Это ты — моя радость огромная,
Ты моя золотая свирель.*

*Вся твоя первобытная дикость,
Вся таинственность чащи лесной,
Как черты дорогого мне лика,
Навсегда облюбованы мной.*

Мечта об утерянном рае у знаменитой русской поэтессы и её способной ученицы одна и та же... Я не говорю о несравнимости или о соразмерности таланта, не придаю значения психологической точности, с которой “не дрогнувшей рукой” вычерчивает свои чувства А. А., по сравнению с грубой эмоциональностью излияний из книги “Крушина”. Меня в первую очередь интересует подлинность страстей, исходящих из “сообщающихся” источников. Видимо, все пишущие женщины обладают единым понятным друг для друга языком чувств...

* * *

Ахматова не просто “научила женщин говорить”. Она властно, естественно и убедительно растолковала им, что они в результате тотальной эмансипации обрели все человеческие и сверхчеловеческие права на всё – в том чис-

ле и право на любые грехи, на полную свободу от запретов, изложенных на скрижалях Моисея, в сурах Корана, в Нагорной проповеди.

Если в земной истории когда-нибудь наступит матриархат, то именно ей первое же поколение новых женщин должно поставить памятник. . .

Вся стихия обожаемой ею свободы клубилась в душевных залах “Бродячей собаки”, в “башне” Вячеслава Иванова, в Фонтанном Доме, в садах Царского Села, на островах, где у ресторанных окон сидели блоковские незнакомки и где сам поэт, кружившийся в метельных вихрях Северной Пальмиры, испытывал то приливы греховного восторга, то падал в бездну покаяния.

*Грешить бесстыдно, беспробудно,
Счёт потерять ночам и дням
И с головой, от хмеля трудной,
Пройти стороной в Божий Храм.*

Блок ещё помнил дорогу к храму и что он – Раб Божий, а Марина Цветаева в ту же самую эпоху возводила его, грешного человека, своими экзальтированными причитаниями на пьедестал, которого был достоин разве что один Спаситель:

*И под снегом вечерним стоя,
Упаду на колени в снег
И во имя твоё святое
Поцелую вечерний снег*

*Там, где поступью величавой
Ты прошёл в гробовой тиши...
Свете Тихий! Святые Славы
Вседержитель моей души!*

Эти стихи с цитатами из самой сокровенной молитвы если и не богохульство, то, конечно же, экзальтированное кощунство Серебряного века, свидетельство его богооставленности.

Иногда мне кажется, что на переломе двух веков в жизни просвещённых сословий Российской империи пышным цветом расцвели все человеческие пороки, накопленные в толщах истории. Революции, как волны, накатывались на страну одна за другой: антихристианская, антисемейная, антигосударственная, сексуальная, экономическая. . . И, конечно же, феминистская, подготовленная поколением Аполлинарии Сусловой, Авдотьи Панаевой, Огарёвой-Тучковой, Ольгой Сократовной Чернышевской и прочими их клонами, вытеснившими из жизни женщин склада Натальи Гончаровой, Татьяны Лариной, Китти Левиной, Софьи Толстой, богобоязненных героинь из романов Гончарова, из пьес Александра Николаевича Островского.

Отнюдь не пресловутый “заговор большевиков” разрушал социальные и нравственные основы жизни, а труды и лекции высоколобых интеллектуалов того же Серебряного века – С. Булгакова, А. Богданова, А. Луначарского, Н. Бердяева.

Стены канонического православия начали обваливаться не только от богохульства Емельяна Ярославского и Демьяна Бедного, а во многом и от деятельности модных реформаторов христианства – Л. Толстого, В. Розанова, Д. Мережковского. Врубель с мирискусниками и Скрябин со Стравинским расшатывали традиционные основы русской живописной и музыкальной культуры.

Основы семейной нравственности и естественного, узаконенного свыше отношения полов подвергались поруганию усилиями не только А. Коллонтай, И. Арманд, Л. Рейснер и прочих “пламенных фурий” революции (это, кстати, случилось позже), но и творческими изысками знаменитых поэтов и писателей обоего пола, чьи имена навечно вписаны в историю Серебряного века, который отнюдь не был продолжением или развитием века Золотого, а, наоборот, был во всех своих ипостасях смертельным его врагом – “ущербным веком”, как назвал его Георгий Свиридов. И сколько бы ни клялись все выдающиеся персонажи Серебряного века в любви к Александру Сергеевичу Пушкину – символу века Золотого, – нельзя забывать о том, что великий поэт в конце жизни попал в сети, расставленные вырожденками из сатанинского содомит-

ского клана, и догадывался, что имеет дело с бесами в людском обличье, когда писал старому гею Геккерену: **“Вы отчески сводничали вашему незаконнорожденному или так называемому сыну... подобно бесстыдной старухе, вы подстерегали мою жену”... “бесчестный вы человек”...** А чуть ли не все знаменитые имена Серебряного века культивировали, насаждали и бесстыдно воспевали в свою эпоху не только содомитство, но все букеты пороков, осуждённых всеми религиями мира. Так что они были не продолжателями пушкинского дела, не его потомками, а по существу прямыми его врагами, “грязною толпой” и “наперсниками разврата”, по словам Михаила Лермонтова. Даже лучшие из них относились к Пушкину с предельным легкомыслием, восхищаясь им лишь как учеником Парни́ или читателем Апулея... Даже Марина Цветаева с её несравненным талантом хотела знать лишь “моего Пушкина”, забыв о речи Достоевского, в которой Пушкин явлен не только общероссийским “нашим”, но и всемирным достоянием. Один Александр Блок попытался в 1921 году в речи “О назначении поэта” вернуться к незыблемой шкале ценностей, но по существу не был услышан. Даже в мелочах, казалось бы, в пустяках, в смешной фамильярности фигура Пушкина вольно или невольно “умалялась” детьми Серебряного века... В семье Мандельштамов его называли, как своего партнёра, “Пушняк”, что напоминает мне нравы “оттепельной семьи” известного детского поэта Сергея Козлова и его жены Татьяны Глушковой, где Александр Сергеевич именовался не иначе, как “Пуша”. И даже в блистательных размышлениях Марины Цветаевой о Пушкине её влечёт к поэту лишь та его сущность, которая заключена в якобы его главном откровении:

*Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья...*

“Пушкин говорит о гибели ради гибели и её блаженстве”; “страсть всякого поэта к мятежу”; “Пушкину я обязана своей страстью к мятежникам”... Страстность, с которой Цветаева восторгается Пушкиным-мятежником, восхитительна. Но в этом восторге нет места Пушкину, созидавшему историю, культуру, язык, нравственность, нет места Пушкину, испытывавшему порывы к смирению перед Высшей Волей, к святости, к осуждению мятежников всех времён, для коих, как писал он, **“чужая душа полушка и своя шейка копейка”**. В цветаевском “Пушкине” нет ничего от понимания пушкинской поэмы “Цыганы” Достоевским. Там, где Цветаева восхищается бунтом пушкинских героев, сверхчеловеком, мода на которого была тотальной в её эпоху, Достоевский видит **“русское решение вопроса, проклятого вопроса по народной вере и правде: “Смирись, гордый человек, и, прежде всего, сломи свою гордыню. Смирись, праздный человек, и, прежде всего, потрудись на родной ниве”**. Но “пир во время чумы” и “гордыня” были ближе дщери Серебряного века Марине Цветаевой, нежели достоевское, евангельское толкование Пушкина, которого она воспринимала чуть ли не как своего современника, гениального декадента, достойного быть персонажем “Поэмы без героя”:

“Начало января 1916 года, начало последнего года старого мира. Разгар войны. Тёмные силы.

Сидели и читали стихи. Последние стихи на последних шкурах у последних каминов. Никем за весь вечер не было произнесено слово фронт, не было произнесено – в таком близком физическом соседстве – имя Распутин.

Завтра же Серёжа и Лёня кончали жизнь, послезавтра уже Софья Исаковна Чацкина бродила по Москве, как тень, ища приюта, и коченела – она, которой всех каминов было мало у московских привиденских печек.

Завтра Ахматова теряла в с е х, Гумилёв – жизнь.

Но сегодня вечер был наш!

Пир во время Чумы? Да. Но те пировали – вином и розами, мы же – бесплотно, чудесно, как чистые духи – уже призраки Аида – словами: з в у к а м и слов и живой кровью чувств.

Раскаиваюсь? Нет. Единственная обязанность на земле человека – правда всего существа. Я бы в тот вечер, честно, руку на сердце положила, весь Пе-

тербург и всю Москву бы отдала за кузминское: “так похоже... на блаженство”, само блаженство бы отдала за “так похоже”... Одни душу продают – за розовые щёки, другие душу отдают – за небесные звуки.

И – все заплатили...”

Несколько комментариев к этой московской картине, достойной того, чтобы её сюжет мог естественно вписаться в “Поэму без героя”. “Серёжа и Лёня” – это Сергей Есенин и Леонид Канегиссер, тоже знаменитые имена Серебряного века. **“Другие душу отдают за небесные звуки”**... А “небесными” ли они были, если Пир шёл “во время чумы”, на грани двух страшных эпох? Как могла столь страстно и даже пристрастно любившая Пушкина Марина Цветаева запомнить, что слова: **“Всё, всё, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимы наслажденья”** – вложены Пушкиным в уста Председателя “Пира во время чумы”, носящего демоническое имя “Вальсингам”; что священник, услышавший гимн Вальсингама Царице-Чуме, с ужасом и простодушием сельского батюшки восклицает: **“Безбожный пир, безбожные безумцы”**; **“подумать мог бы я, что нынче бесы погибший дух безбожника терзают”**; **“я заклинаю вас святою кровью Спасителя, распятого за нас: прервите пир чудовищный”**... Священник напоминает Председателю о его молодой жене, о матери, которых только что унесла Чума, но Вальсингам, сознающий кощунственную греховность их пира, всё равно отвергает его просьбу:

“Зачем приходишь ты меня тревожить, меня спасти... Старик, иди же с миром!” И золотая молодёжь средневековья кричит в лицо священнику:

*Bravo, bravo! достойный председатель!
Вот проповедь тебе! пошёл! пошёл!*

Священник:

Пойдём, пойдём...

Председатель:

*Отец мой, ради бога
оставь меня.*

Священник:

*Спаси тебя Господь.
Прости мой сын...*

Священник изгнан, “пир продолжается”, но **“Председатель остаётся погружён в глубочайшую задумчивость”**... Он понял, что по-евангельски простодушный священник прав высшей правдой...

А на московском “пире во время чумы” 1916 года рядом с Цветаевой не было никого, кто мог бы сказать ей, что отдать и забыть всю окружающую жизнь за какие-то кузминские якобы “небесные звуки” – есть греховная гордыня, не меньшая, нежели гордыня пушкинского Вальсингама. Тут одно из двух: то ли Марина Цветаева, заворожённая словами **“всё, всё, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимы наслажденья”**, не дочитывала поэму до конца, то ли христианский финал трагедии был для неё невыносим и неприемлем.

В той же работе Цветаевой “Мой Пушкин” есть ещё одна куда более экстравагантная мысль: **“Пушкин был негр”, “в каждом негре я люблю Пушкина”**; **“от памятника Пушкина у меня безумная любовь к чёрным”**; **“под памятником Пушкина росшие не будут предпочитать белой расы. Памятник Пушкина – памятник против расизма”**. По Цветаевой получается так, что лишь присутствие в пушкинских жилах негритянской крови дало русской истории прививку от расизма: **“Памятник Пушкину есть живое доказательство низости и мёртвости расистской теории <...> Расизм до своего рождения Пушкиным опрокинут в самую минуту его рождения. Но нет – раньше: в день бракосочетания сына арапа Петра Великого Осипа Абрамовича Ганнибала с Марьей Алексеевной Пушкиной”**.

Как будто до этого мы были расистами – мы, русские, у которых с незапамятных времён при княжеских, великокняжеских, царских и императорских дворах служила, воевала, смешивалась с русской кровью семейными узами грузинская, армянская, татарская, монгольская, среднеазиатская и прочая знать. Как это ни странно, но за одно поколение, отделившееся Ф. М. Достоевского от детей Серебряного века, из памяти их выветрились пророческие

слова Фёдора Михайловича о том, что **“мы <...> с полной любовью приняли в душу нашу гении чужих наций, всех вместе, не делая преимущественных племенных различий, и тем уже выказали готовность нашу ко всеобщему общечеловеческому воссоединению со всеми племенами великого арийского рода. Да, назначение русского человека есть бесспорно всеевропейское и всемирное. Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите”**. Вот она, наивысшая точка “антирасизма” русской мысли, по сравнению с которой “негрофильство” и “юдофильство” Цветаевой воспринимаются как “фэнтэзи”, исполненное экзальтации. Пушкин сам сказал о своём “антирасизме” гораздо точнее и естественнее, нежели Цветаева. “Потомок негров безобразный” – как он сам писал о себе – не вспоминал об одной восьмой доле негритянской крови в своих жилах, но вспомнил о других народах России, когда писал:

*Слух обо мне пройдёт по всей Руси Великой
и назовёт меня вся сущий в ней язык —
и гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
тунгус, и друг степей калмык.*

Упомянуты славяне, монголы, турки... О неграх – ни слова. Зато в “Пире во время чумы” поэт упоминает о них дважды, но отнюдь не по-цветаевски. **“Председатель: послушайте, я слышу стук колёс (едет телега, наполненная мёртвыми телами. Негр управляет ею)”**. Участнице пира Луизе становится “дурно” при виде телеги с мертвецами, она падает в обморок, а когда приходит в себя, то бормочет: **“Ужасный демон приснился мне: весь чёрный, белоглазый... Он звал меня в свою тележку”**. Демон также имеет негритянское обличье – чёрный человек с крупными белками глаз... Словом – существа из потустороннего мира.

Скорее всего, демонстративные негрофильские декларации Цветаевой о том, что негритянская кровь спасла русскую культуру от расизма, и все её “антирасистские” выпады и экзальтированные объяснения в любви “к чёрным” объясняются тем, что к 1937 году, когда было написано эссе “Мой Пушкин, “коричневая чума” уже обнаружила свою расистскую сущность. И не только евреи, но и негры были объявлены А. Розенбергом неполноценными “в расовом отношении”. И Цветаева, у которой муж был евреем, а дети полукровками, обязана была выразить своё отношение к расизму любым способом. В том числе и таким: **“Какой поэт из бывших и сущих не негр, и какого поэта не убили”**. Почти теми же словами, за исключением одного, Цветаева сказала то же самое в “Поэме конца”: **“В сём христианнейшем из миров поэты – жида!”** Вот так и случилось, что в те страшные, предельно политизированные времена “поэты-негры” и “поэты-жиды” стали для неё солью земли, “избранниками” мировой истории. Серебряный век в своей гордыне чересчур высоко возносил поэтов, но не любил и не хотел знать Достоевского...

* * *

Мы дети страшных лет России...

А. Блок

Обезбоженность, порой переходящая в открытое богохульство, успехи и достижения сексуальной революции, равнодушие, а порой и ненависть к семейным устоям, безграничное злоупотребление “правами человека”, культ греха и потеря инстинкта самосохранения привели Серебряный век к девальвации божественной ценности жизни, к душевной опустошённости его “продвинутых детей”, к потере смысла человеческого существования. В конечном счёте самоубийство стало обычным явлением для “серебряной среды”. Век, как древнегреческий Сатурн, стал пожирать своих детей. Раствление душ, как правило, завершалось “жертвоприношением тел”. Особенно рекордным по числу наложивших на себя руки был предвоенный 1913 год.

В 1913 году покончил с собой поэт Виктор Гофман, двадцати с лишним лет от роду. В том же году застрелился двадцатидвухлетний гусар, корнет, поэт

Всеволод Князев, главный герой ахматовской “Поэмы без героя”, один из любовников Михаила Кузмина, посвятившего своему “партнёру” стихотворение с эпиграфом “В. К.” и с раздирающими душу строчками: **“Тобой целованные руки сожгу, захочешь, на огне”**. В. Князев застрелился якобы из-за безответной любви к любимице Ахматовой танцовщице О. Глебовой-Судейкиной. Однако ему же посвящал свои стихи и Георгий Иванов, друг поэта Георгия Адамовича, о которых А. Ахматова, видя их идущих под ручку по Невскому проспекту, недвусмысленно шутила: “Вот идут “жоржики”!” О подобной парочке — М. Кузмине и Ю. Юркуне она язвила подобным же образом: “Вот идут юрочки”. Однако тот же Кузмин написал предисловие к первой книге Ахматовой “Вечер” (1912 г.). И она была весьма ему благодарна, поскольку гомосексуализм в среде питерской элитарной интеллигенции пороком не считался и даже был в моде. Недаром же в “Поэме без героя” — через тридцать лет! — Ахматова скажет о Кузмине с благосклонным чувством: *“общий баловень и насмешник”,* который, по её же словам, *“вероятно, родился в рубашке, он один из тех, кому всё можно. Я сейчас не буду перечислять, что было можно ему, но если бы я это сделала, у современного читателя волосы бы стали дыбом”* (из ахматовских комментариев к “Поэме без героя”, сделанных в 1961 году).

В том же 1913 году свела счёты с жизнью ровесница В. Князева поэтесса Надежда Львова, любовница В. Брюсова, подарившего ей в припадке морфинистического помрачения не что-нибудь, а браунинг.

В том же роковом 1913 году повесился в психиатрической лечебнице ещё один талантливый поэт Серебряного века граф В. Комаровский (которому Ахматова посвятила стихотворение), издавший в год своего самоубийства книжку “Первая пристань”. Его стихи высоко ценил один из кумиров поэтической молодёжи той эпохи Николай Гумилёв.

Содомит и одновременно поэт И. Казанский опять же в 1913 году издал книгу стихотворений “Эшафот” с эпиграфом: “Моим любовникам посвящаю”. Георгий Иванов, трогательно опекавший эту “ветвь” молодой поэзии, писал о стихах Казанского: **“Это самые блистательные и самые ледяные русские стихи”**.

В каждое из 20 стихотворений уникального “Эшафота” были “вмонтированы” имена половых партнёров поэта. Книга вышла под псевдонимом “Иван Игнатъев”. Но вскоре автор, желая доказать обществу, что он мужчина нормальной сексуальной ориентации, женился, а после первой брачной ночи собрал гостей, осушил бокал шампанского, вышел в спальню и полоснул себе горло вошедшей тогда в моду бритвой “Cillett”. (Они же все следили за модой.) Велимир Хлебников посвятил несчастному грешнику стихи: **“И на путь меж звёзд морозных полечу я не с молитвой — с окровавленной бритвой”**. Перед смертью у Игнатъева случился последний роман с молодым поэтом Василием Гнедовым (1890 г. рожд.), который печатался под псевдонимом Жозефина Гант Д’Орсайль, взяв в качестве псевдонима имя супруги Наполеона Бонапарта. Одновременно с “Жозефиной” любовником Ивана Игнатъева (Казанского) был поэт Стефан Петров, публиковавшийся под не менее звучным псевдонимом Грааль Апрельский. Первая его книжечка называлась весьма вызывающе: “Голубой абажур” (1911 г.). Он, видимо, был не бездарен, если Александр Блок откликнулся на издание “Голубого абажура” письмом автору, в котором писал: **“Книжка Ваша многим мне близка. Вас мучат также звёздные миры”**... Петров, в отличие от многих своих “сотоварищей по сексу”, руки на себя не наложил и “пострадал” лишь в 1934 г., когда в Уголовный кодекс СССР была включена статья, наказывающая за педерастию, которая в среде поэтов и революционеров прижилась настолько, что до Сталина дошли достоверные сведения о “дореволюционных связях” министра иностранных дел Советской России Г. В. Чичерина с кумиром содомитов поэтом Михаилом Кузминым. В 1916 году покончил жизнь самоубийством поэт, член РСДРП Лозино-Лозинский, застрелился свояк В. Брюсова (муж его сестры) Самуил Киссин (псевдоним “Муни”), приняла лошадиную дозу цианистого калия Анна Мар, автор широко нашумевшего в те годы романа “Женщина на кресте”, главными героинями которого были садистки, мазохистки и лесбиянки. Роман переиздавался несколько раз и лёг в основу фильма “Оскорблённая Венера”. Талантливое дитя Серебряного века Георгий Иванов хорошо знал нравы своей среды, когда писал: “Стал нашим хлебом цианистый

калий”. Он же, видимо, испугавшись нарисованной им самим картины, в другом стихотворении грех самоубийства опустил до карнавальнo-развлекательных ритуалов:

*Конечно, есть и развлечения:
Страх бедности, любви мученья,
Искусства сладкий леденец,
Самоубийство, наконец.*

Эпидемия самоубийств в содомитской среде становилась естественным явлением. Как будто торжествующее греховное зло, достигнув недопустимого для жизни переизбытка, согласно неотвратимому закону природы соскальзывало на путь самоистребления и начинало пожирать самого себя, словно змея собственный хвост*.

Да что говорить о забытых или полузабытых жертвах серебряновековых сатурналий, если на заре той эпохи неудачную попытку самоубийства предпринял Максим Горький, если Александр Блок сделал предложение Любови Менделеевой, написав предварительно записку о том, что в случае отказа он **“просит никого не винить в его смерти”**, если многие популярные герои произведений Куприна и Бунина, не говоря уже о персонажах бульварной литературы, с наслаждением ставили “точку пули в своём конце”, стреляли себе в рот, в сердце, в виски из двух пистолетов сразу, если с шизофренической настойчивостью Владимир Маяковский бредил грехом самоубийства в своей лирике, если даже плоть от плоти простонародной Сергей Есенин с ужасом писал о суицидных соблазнах, посещавших его. Дважды пытался покончить с собою из-за безответной любви популярнейший прозаик начала века Леонид Андреев. Всем им можно было поставить диагноз “духовная интоксикация”, что означает отравление роковыми вопросами бытия души, не получившей прививку новозаветного христианства, спасающего человека от неразрешимых душевных и телесных соблазнов. Самоубийство для таких натур – это отсутствие надежды на спасение, на милосердие Творца, это уход из жизни без покаяния и без примирения с Высшей Волей. Да и о каком христианстве и вере в бессмертие души можно было говорить, если самая талантливая поэтесса Серебряного века Марина Цветаева, душа которой была ранена не только разрывом с любимым человеком, но и беспредельной материалистической, языческой гордыней, писала:

*Я не более чем животное,
Кем-то раненное в живот.
Жжёт... Как будто бы душу сдёрнули
С кожей! Паром в дыру ушла
Пресловутая ересь вздорная,
Именуемая: душа.*

*Христианская немочь бледная!
Пар! Припарками обложить!
Да её никогда и не было!
Было тело, хотело жить...*

Но жизнь без веры в бессмертие души сразу обесценивалась, как деньги во время дефолта. Одним из петербургских салонов, где формировался подобный “декадентский материализм”, была так называемая “Башня” поэта и мистика Вячеслава Иванова, уехавшего после Октябрьской революции в Италию и принявшего католичество. Его дочь Лидия в “Книге об отце”, изданной в 1990 году в Париже, вспоминает:

“Кто только не сиживал у нас за столом! Крупные писатели, поэты, философы, художники, экзальтированные дамы. Вспоминаю одну, которая приходила к Вячеславу, упрямо приглашала его к себе на какой-то островок, где у неё был дом. Она хотела, чтобы он помог ей родить

* Приведённые выше исторические и литературоведческие подробности из судеб поэтов Серебряного века взяты автором из книги Д. Нечаенко “История литературных сношений”.

сверхчеловека... Она обходила многих знаменитых людей с этим предложением...”

Завсегдатаем вавилонско-питерской Башни был и знаменитый поэт Валерий Брюсов, воспевший, в отличие от своих молодых учеников по символизму, не какое-то банальное содомитство, а изощрённую лесбийскую страсть к своей госпоже – царевне рабынь, отравивших из ревности соперника-мужчину, которого возжелала царица:

*И с этих пор, едва темнело
И жизнь немела в сне ночном,
В опочивальне к телу тело —
Сближали мы, таясь, втроём.*

А когда эти скромные утехы надоедали воображению поэта, он обращался к дионисийским животнo-звериным вариантам чувственных безумств:

*Повлекут меня со мной
К играм рыжие силены,
Мы натешимся с козой,
Где лужайку сжали стены...*

Как говорится, любовь зла, полюбишь и козу...

Наслушавшись такого рода гимнов в честь скотоложества, дамы, близкие к Вячеславу Иванову и его публике, потихоньку сходили с ума. Одна из них. Александра Чеботаревская, которую Вячеслав Иванов называл “Кассандрой”, **“во время отпевания М. Гершензона, бывшего ей близким другом, указывая рукой на умершего, закричала: “Вот он открывает нам единственно возможный путь освобождения от этого ужаса! За ним! За ним!” И она стремглав дико убежала. Бросились её догонять друзья; среди них Ю. Верховский, Н. Гудзий. В течение нескольких часов они гонялись за ней по улицам, подворотням, лестницам. Наконец, хитростью безумия ей удалось от них скрыться. В тот же день вечером нашли её мёртвое тело в Москве-реке”**.

(Л. Иванова, “Воспоминания”).

А за несколько лет до этой трагедии точно так же покончила с собой её родная сестра Анастасия Чеботаревская, жена знаменитого поэта и прозаика Фёдора Сологуба. Она бросилась осенью 1921 года в Неву, как бы следуя завету своего супруга:

*Зачем любить? Земля не стоит
Любви твоей.
Пройди над ней, как астероид,
Пройди скорей...*

Вячеслав Иванов, режиссёр “дионисийских” башенных мистерий, изощрявшийся во всяческих радениях, в конце концов решил создать тройственный сексуальный союз, куда входили бы он, его жена Л. Зиновьева-Аннибал и художница М. Сабашникова. Иногда к “союзу”, неизвестно с какой стороны, примыкал Сергей Городецкий*.

* См. предисловие к книге Л. Зиновьевой-Аннибал “Тридцать три урода”, изданной в Москве, когда идеологи перестройки трудились не покладая рук для возрождения имён и нравов Серебряного века.

Именно в эти растленные бесцензурные годы были изданы книги, казалось бы, навсегда канувшие по причине порочности содержания и полного графоманства, многих второстепенных и даже третьестепенных писателей и поэтов Серебряного века – Арцибашева, Нагродской, Гофмана, Князева, Лохвицкой, Бурлюка, Кручёных, Мариенгофа, Софьи Парнок и т. д.

Кстати, тогда же была издана книга известного поэта, одного из “младших шестидесятников” Александра Шуплова, пытавшегося в жизни воскресить нравы эпохи Михаила Кузмина. Книга называлась простенько и со вкусом: “Серебряная изнанка”. А его ровесник поэт Сергей Чудаков – тоже шестидесятник, написал вдохновенное стихотворенье о Федре и Ипполите с эффектной концовкой: “Вожделением к мёртвому я сожжена”... Словом, некрофильство.

Подобные союзы, модные в ту эпоху, носили и приметы кровосмешения (инцеста), если вспомнить, что после смерти своей жены Л. Зиновьевой-Аннибал Вячеслав Иванов женился на её дочери (своей падчерице) В. Шварс-лон, которой А. Ахматова посвящала стихи.

История женитьбы В. Иванова на падчерице копировала “кровосмесительный” древнегреческий сюжет о страсти царицы Федры к своему пасынку Ипполиту, сюжет, ставший чрезвычайно модным в творчестве поэтов и поэтесс Серебряного века. Стихи, воспевающие греховную страсть Федры, плодились, как грибы, а Марина Цветаева написала целую стихотворную трагедию, посвящённую несчастной мачехе. Несчастливая Федра, несчастная Сафо, ненавидящие мужчин амазонки становятся культовыми фигурами женской поэзии десятых годов прошлого века. Осип Манделъштам тоже воспел инцест в стихах о соращении библейского Лота его двумя дочерьми, совершенном ради продолжения рода, о чём подруга манделъштамовской семьи Эмма Герштейн оставила запись в книге “Воспоминаний”: *“Евреев он ощущал как одну семью — отсюда тема кровосмешительства”*. И Ахматова не обошла этот знаменитый сюжет: *“И, увы, содомские Лоты смертоносный пробуют сок”*. Но на этом поиски эротических сюжетов в Башне Вяч. Иванова не закончились. Хозяину пришла в голову ещё одна мысль — организовать, кроме тройственного союза и знаменитых сред, мужской кружок “Друзей Гафиза” — персидского поэта, воспевшего в “Диване” однополую мужскую любовь. В кружок входили художник К. Сомов (кличка “Аладдин”), музыкант Нувель (кличка “Петроний”), философ Бердяев (кличка “Соломон”) и поэт М. Кузмин (кличка “Антиной”), о котором в “Поэме без героя” её создательница с упоением вспоминала: **“И тёмные ресницы Антиноя вдруг поднялись — и там зелёный дым”**.

Брат будущего мужа Марины Цветаевой Сергея Эфрона повесился в Париже в 1911 году. Ему было четырнадцать лет. В ту же ночь вслед за ним на том же железном крюке повесилась и мать Сергея Эфрона — Елизавета Дурново-Эфрон, революционерка из тайного общества “Народная воля”. Третьей висельницей из этой семьи стала сама Марина, елабужский диалог которой перед смертью с шестнадцатилетним сыном Муром не поддаётся никакому разумному истолкованию: **“Так что же, по-твоему, мне ничего не остаётся, кроме самоубийства?” — спросила мать сына, и сын ей ответил: “Да, по-моему, ничего другого Вам не остаётся”**. Этот разговор, приведённый в книге воспоминаний Анастасии Цветаевой — сестры Марины — сам Мур передал товарищам по жизни в Елабуге.

Надежда Яковлевна Манделъштам в книге своих воспоминаний даёт несколько толерантную, но достаточно правдивую картину жизни, в которой жили “дети страшных лет России”, среди которых росла и она сама:

“Всё общество и каждый человек получили в дар от десятых годов крупницу своеволия, червоточину, которая взбаламутила его личную жизнь и определила общественную позицию. Я знаю эту крупницу в себе, в Ахматовой и даже в Манделъштаме”.

Эмма Георгиевна Герштейн была ближайшей подругой семьи Манделъштамов, женщиной, близкой (как говорят сейчас, гражданской женой) Льву Гумилёву, и о типичных для людей Серебряного века комплексах у Н. Манделъштам она пишет так:

“Даже в первые годы их совместной жизни в Ленинграде Надя признаётся, что неудача в живописи давала ей право на самоубийство <...>”; “Осип Эмильевич часто встречался с Георгием Ивановым. По-видимому, младший поэт пытался обратиться Манделъштама в свою гомосексуальную веру. Но Гумилёв говорил: “Осип, это не для тебя”.

Находясь в подмосковном санатории в Саматихе — уже в 30-х советских годах! — чета Манделъштамов не могла отказаться от привычек и нравов Серебряного века, о чём пишет та же Э. Герштейн:

“В Саматихе они вовлекли в свои эротические игры одну особу из отдыхающих, оказавшуюся членом райкома партии”. И если “эротические игры” как-то связаны с тяготением к самоубийству, то лучше всего эта связь изложена в ещё одном отрывке из воспоминаний Э. Герштейн, рассказывающем, как нравы Серебряного века догоняли его детей на протяжении всей их жизни. Речь в отрывке идёт о подруге Манделъштамов, которой Осип Эмиль-

евич посвятил прекрасное стихотворенье “Возможна ли женщине мёртвой хвала...”:

“Ольга Александровна Ваксель играла в 20-х годах большую роль в ленинградской жизни Надежды Яковлевны и Осипа Эмильевича. В 1935 году они получили запоздалое известие о её смерти. Ещё в 1932 году она покончила жизнь самоубийством в чужом городе, куда уехала из России, выйдя замуж за норвежца. Весть об её трагической кончине потрясла обоих Мандельштамов. Надя узнала об этом в Москве. Она горевала, вздыхала, но вспоминала её эротически, приговаривая: “Лютик! Лютик! Она никому не умела отказать”...

Традиционные христианские основы жизни подтачивались “образованцами” той эпохи со всех сторон – с революционной, либеральной, богемной, придворной, научной, философской, литературно-художественной, нищезанской... Перед этим мутным потоком в ту эпоху не могло устоять никакое общество. Конечно же, этот мир, не уступавший по степени своего растрепания ни Египту времён Клеопатры, ни Риму времён Нерона, ни Франции времён Людовика XVI, был достоин Очищения и Возмездия, на что надеялись Александр Блок, Сергей Есенин, Николай Клюев. На Европу Фридриха Ницше и Зигмунда Фрейда, Отто Вейнингера, Оскара Уайльда у России надежды не было, и Возмездие наступило:

*И мы забыли навсегда,
Заклочены в столице дикой,
Озёра, степи, города
И зори Родины великой.
В кругу кровавом день и ночь
Долит жестокая истома...
Никто нам не хотел помочь
За то, что мы остались дома,
За то, что, город свой любя,
А не крылатую свободу,
Мы сохранили для себя
Его дворцы, огонь и воду.*

*Иная близится пора,
Уж ветер смерти сердце студит.
Но нам священный храм Петра
Невольным памятником будет.*

Наконец-то и Ахматова, влюблённая в карнавалы и маскарады и во всю чертовщину 1913 года, обрела голос, достойный не Серебряного, а настоящего легендарного XX века. Но какая цена была заплачена за это “прозрение”! Дети Серебряного века очень любили в своих стихах намекать или говорить прямо, что они играют с адскими силами, что они накоротке с “владыкой тьмы”, что их притягивают тёмные бездны зла. Такие игры даром не проходят. Игра в ад закончилась настоящим адом. Ад петлюровских погромов, ад рассказачивания, ад Белого и Красного терроров, ад голода, холода и продрозвёрсток, ад эпидемий тифа, ад чекистских застенков и белогвардейских контрразведок... “Хлестнула дерзко за предел нас отравившая свобода”... “Уже написан Вертер”... “Всё расхищено, предано, продано”...

*Здесь девушки прекраснейшие спорят
За честь достаться в жёны палачам,
Здесь праведных пытаются по ночам
И голодом неукротимых морят...*

Обезбоженные дети Серебряного века не сразу поняли, что новая власть взяла на себя все обязанности высших сил, испепеливших Содом и Гоморру. Но ни ЧК, ни местечковый бюрократический аппарат, ни Кремлёвский горец не смогли бы совершить возмездия, если бы на то не было ВЫСШЕЙ Воли. Но всё свершается по Священному писанию: “Мне отмщение и аз воздам”, а Бич Божий может быть вложен в любые грешные руки.

Георгий Иванов, один из младших отпрысков Серебряного века, несомненно обладавший особым талантом выражать поэтическую сущность жизни в мелодии стиха, в жесте, без опоры на всевозможные рукотворные литературные приёмы, написал в эмиграции редкое для себя почти идеологическое стихотворенье.

*Свободен путь под Фермопилами
На все четыре стороны.
И Греция цветёт могилами,
Как будто не было войны.*

*А мы, Леонтьева и Тютчева
Сумбурные ученики —
Мы никогда не знали лучшего,
Чем праздной жизни пустяки.*

*Мы тешимся самообманами,
И нам потворствует весна;
Пройдя меж трезвыми и пьяными,
Она садится у окна.*

*“Дыша духами и туманами”,
Она садится у окна.
Ей за морями-океанами
Видна блаженная страна.*

*Стоят рождественские ёлочки,
Скрывая снежную тюрьму,
И голубые комсомолочки,
Визжа, купаются в Крыму.*

*Они ныряют над могилами,
С одной — стихи, с другой — жених...
И Леонид под Фермопилами,
Конечно, умер и за них.*

В этом стихотворенье выразилось отчаяние человека, потерявшего родину и от отчаянья решившего свести счёты с ней, с этой совдепией, где нет уже “Бродячей собаки”, с её режимом, с её примитивным простонародьем, создающим новую, непонятную для него жизнь.

Стихотворенье, видимо, написано после 1936 года, когда “совдеповская” власть пошла на многие послабления режима — восстановила праздники новогодней (“рождественской”) ёлки, восстановила “лишенцев” в избирательных правах, простила казачество, когда советские обыватели (“комсомолочки” и их “женихи”) после сверхнапряжения коллективизации и первых лет индустриализации обрели возможность в отпускное время съездить в Крым на Чёрное море и передохнуть от перегрузок мобилизационной эпохи. . .

Но эти соображения были не интересны инфанту Серебряного века. Он, как и Анна Ахматова (“пока вы мирно отдыхали в Сочи, ко мне уже ползли такие ночи и мне такие слышались звонки”), при всей толерантности своего лирического дара негодует, что пошлое простонародье купается над морскими могилами белых офицеров, расстрелянных и брошенных в море по приказу Бела Куна и Розалии Землячки в 1920 году. Ему и в голову не может придти, что всего через несколько лет “женихи” этих “голубых комсомолочек” пройдут перед Иосифом Сталиным шеренгами на знаменитом параде 7 ноября 1941 г. и встанут насмерть, чтобы не сдать Москву коричневым европейским ордам. И полягут не хуже греков под Фермопилами в мёрзлую русскую землю. А “голубая комсомолочка” Зоя Космодемьянская, внучка православного священника, окормлявшего тамбовских повстанцев Антонова и расстрелянного вместе со многими из них, стоя на виселице, выкрикнет перед тем, как немецкий солдат выбьет из-под её босых ног табуретку: “Сталин придёт!” Он не узнает,

что честный советский поэт Борис Слуцкий, отнюдь не сталинский фанатик, напишет:

*О Сталине я думал всяко разное,
ещё не скоро подобью итог,
но это слово, от страданья красное —
за ним. Я утаить его не мог.*

Георгий Иванов и его друг Георгий Адамович (“жоржики”, по словам Ахматовой) в 1921–23 годах снимали большую роскошную квартиру в центре Петербурга на Почтовой, 2, которая быстро превратилась в кабак, в притон для карточных игроков, спекулянтов валютой и педерастов. В конце концов на квартире произошло убийство одного из завсегдатаев. Труп был расчленён и сброшен в Мойку, после чего Адамович, участвовавший в расчленении, срочно сбежал за границу. Где в это время был другой “жоржик”, угрозыск и ЧК так и не выяснили. Но скандал в нэповском Питере стоял страшный, о чём писала в марте 1923 г. “Красная газета”. Всю последующую жизнь между двумя “жоржиками” шёл спор о том, кто и насколько замешан в этой мерзкой истории. Но я вспомнил о ней лишь потому, что нравы Серебряного века, которые двумя партнёрами были перенесены в нэповскую Россию, рано или поздно должны были принести свои плоды, что и произошло.

А ещё мне хочется добавить, что оба “жоржика”, стихи которых в эпоху реставрации нравов “Бродячей собаки” и Почтовой, 2 были обильно изданы и переизданы в горбачёвско-ельцинскую эпоху, никогда бы не вернулись на родину, если бы “голубые комсомолочки” со своими “женихами” не защитили Москву и Отчизну в суровую зиму 1941 года. Одним словом, как греки под Фермопилами умерли за “комсомолочек” (то есть за всю последующую историю цивилизации), так и “комсомолочки” с “женихами” погибли смертью, не уступающей по героизму грекам, для того чтобы мы сегодня могли читать стихи двух талантливых педерастов и пытались разгадать, что же произошло в Питере 1922 г. на Почтовой, где доживали своё последнее время перед тем, как сбежать в Европу, растленные инфанты Серебряного века. Большинство несчастных поэтов “серебряного поколения”, и совсем молодых и тех, кто дожил до старости, вроде Кузмина и Клюева, страдавших содомитским грехом, естественно, не имело детей. Может быть, имея в виду эту Божью Кару, один из умнейших русских поэтов пушкинской эпохи Евгений Боратынский завершает своё пророческое стихотворенье “Последняя смерть”, в котором речь идёт об угасании и вырождении рода человеческого, простыми, но страшными словами: **“И браки их бесплодны пребывали”**...

Идеологи демократии, издеваясь над Советской цивилизацией, часто с иронией твердят, что там “не было секса” Но дети почему-то были. И много. А при “демократии” чем больше секса – тем меньше детей. И чем больше зрелищ – тем меньше хлеба.

(Продолжение следует)